

Александр Генис  
Обратный  
адрес

Автопортрет



Александр Генис  
**Обратный адрес. Автопортрет**

«Издательство АСТ»

2016

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Генис А. А.**

Обратный адрес. Автопортрет / А. А. Генис — «Издательство АСТ», 2016

ISBN 978-5-17-113931-5

“Обратный адрес” — это одиссея по архипелагу памяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них — Петр Вайль и Сергей Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышников, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и Чхартишвили, Комар и Меламид, “Новый американец” и радио “Свобода”. Кочуя по своей жизни, Генис рассматривает ее сквозь витраж уникального стиля: точно, ярко, смешно — и ничего лишнего.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-113931-5

© Генис А. А., 2016  
© Издательство АСТ, 2016

# Содержание

Янтарный трактор	7
Евбаз,	7
Луганск	11
Луганск	16
Рязань	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Александр Генис

## Обратный адрес

### *Автопортрет*

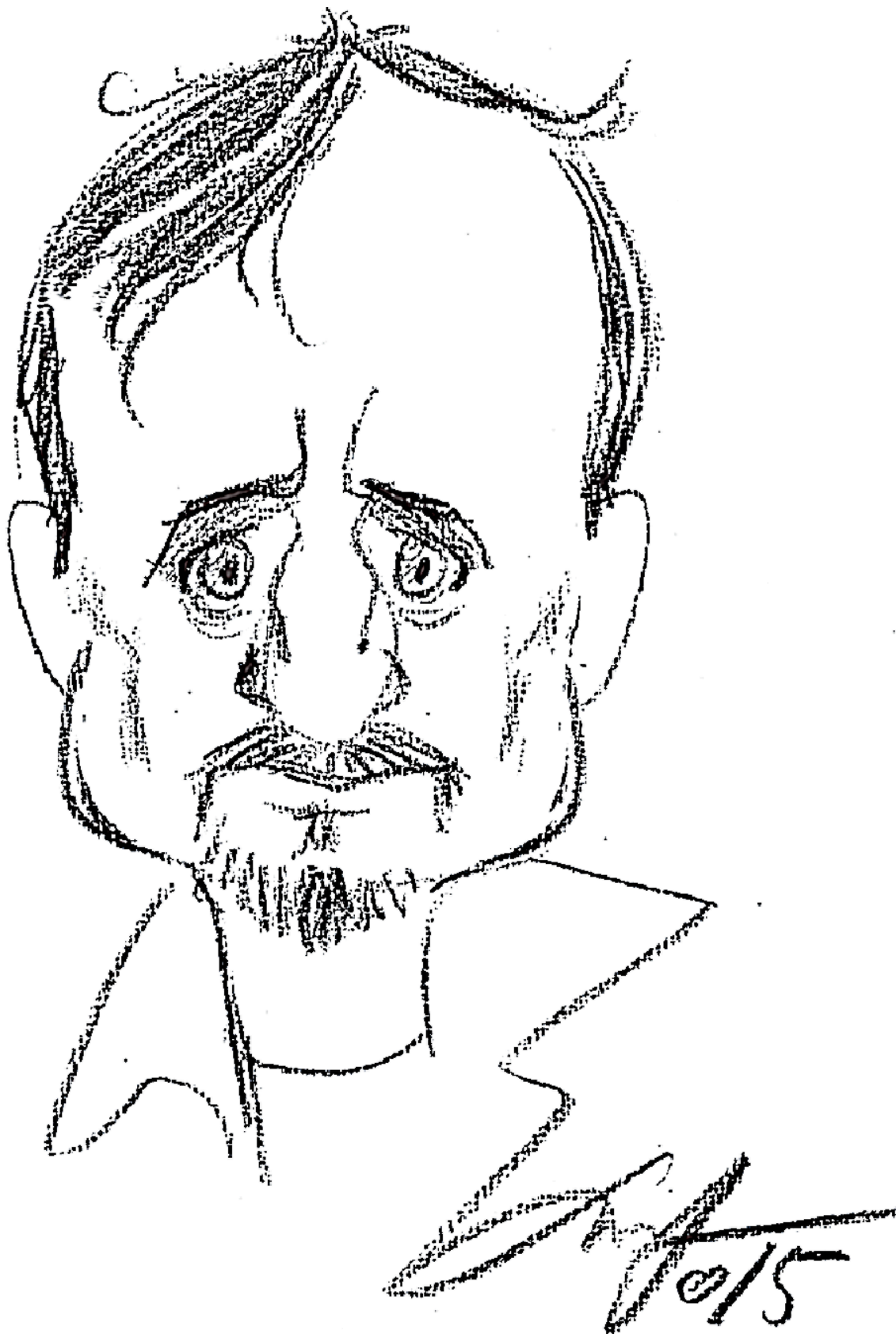
© Генис А. А., 2016.

© ООО «Издательство АСТ», 2016.

В книге использованы фотографии Зинаиды Терентьевой, Марианны Волковой, Валерия Плотникова, Льва Полякова, Нины Аловерт, Ирины Генис и фото из личного архива автора.

\* \* \*

*Посвящается памяти моего отца  
Александра Гениса-старшего*



*Шарж Юрия Макарова*

## Янтарный трактор

### Евбаз, *или* Три сестры

Я привез жену в Киев, чтобы попрощаться с городом перед отъездом в Америку.

– Корни, – объяснил я Ире, когда мы добрались до улицы Чкалова.

– Похоже, – сказала она, разглядывая желтый домик, по уши, как в сказке, вросший в крутую улицу.

В него можно было войти, перешагнув подоконник, но я зашел со двора. Тут все было на месте: и хибарка сортира на горе, оказавшейся холмиком, и развесистая шелковица с уже черными плодами. Таким я все это увидел, впервые навестив бабушку. Но теперь мне никак не удавалось понять, как в этом кукольном пространстве умещался целый еврейский мир, который был моим ранним детством.

Нашей была одна комната. Когда-то в ней жили все: хозяйка-бабушка, вторая бабушка, мама с папой, брат-младенец и квартирантка с виолончелью. Спали в два этажа – и под столом, и на столе. Но я застал относительный простор, который мы делили уже с одной бабушкой и лимонным деревцем, дававшим бледный и одинокий плод раз в год, зато зимой. Другим любимцем был колючий куст лечебного алоэ. Он служил панацеей семье, любовно лелеющей свои хвори.

У меня, правда, ничего не болело, но бабушку это не останавливало. Она лечила меня от недоедания калорийной бомбой, называвшейся на том же кукольном языке «гоголь-моголь». Желтки, какао, сахар, сливочное масло и чайная ложка считавшегося лечебным коньяка перетирались в пасту элегантного цвета беж. Поскольку этим кормили на завтрак, обед меня не интересовал. Пугаясь, бабушка удваивала дозу, и есть хотелось еще меньше, что не могло ее не тревожить.

На Чкалова вся жизнь вертелась вокруг еды, заменявшей религию и служившей ею. Рассыпавшаяся под ударами светской истории и давлением державного атеизма старая вера сохранилась только за столом, где все праздники – от Пейсаха до Седьмого ноября – отмечались одинаково: фаршированной рыбой, к которой подавалась заткнутая газетой давно початая бутылка с настойкой на лимонной корочке.

За окном открывалась киевская жизнь. Из вечно мокрой Риги она казалась южной и красноречивой. Бабушка всех знала и проводила время в разговорах, высунувшись по пояс из окна. Через него шла торговля съестным. Лучше всего была бледно-розовая земляника с дурманящим ароматом. Ее продавали стаканами и ели со сметаной, отчего обед меня привлекал еще меньше. Обычно он был связан с курами. С базара их приносили живыми к соседу-шойхету. Престарелый резник уносил жертву в свою каморку и выносил обратно обезглавленный труп. Я уже понимал, что казнь имела отношение к богу, но еще не знал – к какому, предпочитая гоголь-моголь и землянику.

Напротив палача жила богатая Сима: у нее был ковер. Муж Симы служил билетером в Народном театре, что открывало не понятное мне (но не ему) щедрое поле для коррупции. Во всяком случае, в их комнате был свой сортир, пока остальные пользовались нужником во дворе.

Симу, конечно, недолюбливали. Впрочем, в этом доме, переполненном, как трюм корабля с эмигрантами, трудно было не ссориться, чаще всего – на заставленной керогазами

кухне. В канун праздников она становилась полем боя. Хозяйки сталкивались лбами, готовя фаршированную рыбу из карпов, плескавшихся у всех под ногами в жестяных тазах. (Потомки скотоводов, евреи любили пищу свежей, желательно – живой).

Многим позже я видел нечто подобное у Босха и Германа. Теснота, возведенная в квадрат, взламывала социальные молекулы, вынуждая к телесному общению на следующем, атомарном уровне. Кажется, так устроена ядерная бомба, но тогда я о ней еще не знал. У меня не было букваря. Он полагался только первоклассникам, а до них мне было еще невыносимо далеко – года полтора. Читать я учился по вывескам, когда меня водили гулять.

Чкалова напоминала горное ущелье. Во-первых, я был маленьким, во-вторых, в Латвии нет гор, только дюны, в-третьих, улица и впрямь крутая. В ливень по ней катился мутный вал с пеной окурков. Однажды он сшиб меня с ног и вынес в громадную лужу на площади Победы. В ясную погоду мы ходили на нее есть истерически вкусные кавказские огурчики. На площади всегда шла стройка. Посередине воздвигали цирк, на углу – кинотеатр. Его еще строили, а вывеска уже горела. Она стала первым словом, которое я прочел сам. Оно было украинским: «Перемога». На самом деле все это называлось «Евбаз», и я даже не подозревал в нем аббревиатуру.

## 2.

Я хотел, чтобы отец назвал свои мемуары «Евбаз», но он, не слушая моих советов, как, впрочем, и я – его, гордо вывел на переплете скоросшивателя «Mein Kampf». Со временем в нем собралось 900 страниц. После смерти отца она стала моей родовой книгой, и я заглядываю в нее каждый раз, когда хочу освежить рецепт или набраться мужества.

Отец никогда ни о чем не жалел. В рассказе Гайдара «Горячий камень», с которым я познакомился в букваре, когда наконец до него добрался, мальчик находит волшебный валун, возвращающий молодость каждому, кто на него сядет. Школьник, нашедший Горячий камень, отказался от этой перспективы, не желая заново остаться на второй год в первом классе. Тогда он привел к камню израненного красноармейца, но и тот решил не отдавать искалечившую его боевую юность.

– Ты был сел на Горячий камень? – спрашиваю я всех, кто подвернется.

– Ни за что, – с ужасом отвечают мне.

Что и не удивительно. Кант говорил, что никто не согласился бы родиться, зная, что нас ждет. Только отец, ни на секунду не задумавшись, спросил: «Где твой камень?» Я не знал к нему дороги, и отец вернулся обычным путем – мемуарами.

Исходной точкой в них был Еврейский базар, вокруг которого жил и кормился весь иудейский рукав моей семьи. В описании отца Евбаз напоминал «Сорочинскую ярмарку». На нем торговали всем, что покупалось, и каждый товар считался нелегальным, ибо незаконной была сама частная торговля. Другой, однако, почти не было, и власти ограничивались поборами. Восторг у отца вызывало съестное. Роняя слюну на страницу, он вспоминал деревенских баб, усевшихся ватными задами на ведрах с огненным борщом – чтоб не остыл.

– Вкуснее, – заключал отец, – не было и не будет.

Мемуары отца переполнены лакомствами, что прекрасно иллюстрировало его мировоззрение. Отец искренне не понимал, как можно винить мир в наших неурядицах. И ни война, ни политические разногласия с режимом, каждый раз заканчивающиеся уверенной победой режима, не отменяли его веры в то, что жизнь состоит из вкусных вещей и блондинок, пусть и крашенных.

– Родись я женщиной, – говорил отец, – менял бы масть через неделю.

Евбаз кормил всех: покупателей, продавцов, милиционеров. Бабушка устроилась лучше многих, потому что шила сорочки. Она накладывала выкройку на простыню, и вырезала перед

и спинку рубашки. Потом края аккуратно сшивались, но так, что влезть вовнутрь мог только выпиленный из фанеры человек, вроде тех, с которыми снимают простаков на курортах. До смерти отца мучила загадка: что делали с этими рубашками трехмерные покупатели, но это осталось неизвестным, потому что никто не жаловался.

Искусство кройки и шитья, хоть и в сокращенном виде, бабушка переняла от своего отца и моего прадеда Соломона. Предприимчивый и религиозный портной, он вел тихую еврейскую жизнь и знал по-русски только слово «мадам», с которым обращался ко всем клиенткам, независимо от возраста. В нэп прадед успешно торговал дамским платьем и держал на Евбазе магазин-«рундук». Это архитектурное ископаемое представляло собой небольшой куб, глухо запирающийся со всех сторон на случай погрома. Такие лавки я встречал во Флоренции, на Понте-Веккьо, но у евреев Киева не было выбора между гвельфами и гибеллинами. Им доставалось от тех и других.

Когда нэп кончился, власти отобрали у прадеда пятикомнатную квартиру с отдельной каморкой для прислуги. Теперь в людской жили все мои предки. Ее, последнюю ценность буржуазного быта, любили больше жизни. Поэтому, отправляясь в эвакуацию, Соломона оставили сторожить комнату. Расчет был на то, что фашисты, как бы их ни чернила известная враньем советская власть, не тронут беспомощного старика, умеющего говорить лишь на своем, похожем на немецкий, языке.

Прадеда расстреляли в Бабьем Яру. Туда отец возил меня, когда я уже был школьником. Как все еврейское, овраг считался полуподпольной достопримечательностью, но в Киеве все знали к нему дорогу.

### 3.

Евбаз – болото города, куда стекались окрестные улицы. Кроме них были еще и проходные дворы. Они вели в переулки, населенные родственниками. На Воровского жила тетя Сарра, на Саксаганского – тетя Феня, бабушка, как уже говорилось, – на Чкалова.

Отличие от чеховских, эти три сестры не хотели в Москву. Они выходили из дома только на Евбаз и друг к другу. Чаще всего собирались у старшей, на Чкалова. Усевшись под лимонным деревцем за покрытым кружевной дорожкой столом, они, словно ведьмы в «Макбете», колдовали над картами.

Бабушка умела гадать. Она зарабатывала этим на жизнь, прибившись в эвакуации к цыганскому табору. Будущее сестер мало волновало. Они предпочитали настоящее, считая, что любые перемены ведут к худшему.

В этом сказывалась национальная защитная реакция. Заранее оплакивая грядущие беды, евреи вырывали у судьбы жало, лишая ее преимуществы внезапной атаки. Мне это тоже знакомо. Я избегаю покупать в кредит, чтобы не оказаться заложником у будущего. Зато отец не верил в унылую еврейскую предусмотрительность и всегда жил в долг. Хотя родная история и личная биография учили его другому, он дерзко гнал зайца дальше, веря, что будущее расплатится за настоящее, включая автомобиль «Победа».

Погадав, сестры принимались за еврейский преферанс, хитроумную и знаменитую еврейскую игру «66», которой часто развлекались в рассказах Шолом-Алейхема. Еще не научившись читать, я уже умел считать взятки, и меня брали четвертым. По-настоящему увлекательной игрой делало умение жульничать – «махерить». Самая простодушная, тетя Сарра, обманывала виртуозно, тетя Феня всегда попадалась, бабушка была жандармом игры. Собственно, она всех держала в страхе, кроме нас с отцом. Меня она обожала как маленького, его – боготворила как большого.

Отец и правда был выше всей своей неказистой родни, особенно в фуражке. Хотя форма напоминала военную, отец преподавал кибернетику в штатском учреждении, которое называ-

лось Институтом гражданской авиации. Но родственники не вникали в подробности и тайно считали отца генералом. Он снисходил и не спорил.

Вырвавшись с Евбаза, отец возвращался туда, как в детство – и свое, и человечества. Архаический мир Евбаза был прост и делился на два. Одна часть – знакомая, своя. От другой – нееврейской – не стоило ждать ничего хорошего. Сплошной и враждебный космос гоев, в котором нечем дышать и нечего делать. Перемена власти ничего в нем не меняла. Как бы ни называлась революция, она норовила отобрать у евреев жизнь и деньги.

Отец взорвал эту устоявшуюся за последние несколько тысяч лет систему, когда привел на Чкалова зеленоглазую блондинку Ангелину Бузинову, мою маму. Не знаю, верили ли мои родичи в Бога (я и про себя это еще не выяснил), но они блюли незыблемость рубежей между двумя мирами. Вынужденные переступить границы в той короткой и неплодотворной общественной жизни, которую они вели, евреи отказывались впускать чужих в круг, замкнувшийся еще во времена первого Храма.

Другими словами, русская жена была катастрофой для семьи. Явление мамы произвело землетрясение, спутавшее контурную карту еврейской жизни. Но обратного пути уже не было – мама была беременна моим братом. Не в силах сделать из мамы еврейку, три сестры выбрали паллиатив, научив ее готовить (и как!) фаршированную рыбу. Так маме нашли нишу попутчика в сложном и витиеватом еврейском мире, где каждый знал свое место, хотя и претендовал на чужое.

В Киеве строгая сословная спесь отделяла евреев с Подола от тех, что с Евбаза. В табели о рангах семья балагула стояла ниже дочери портного, знавшего русское слово «мадам». Это выяснилось, когда засидевшуюся в девках тетю Сарру удалось выдать за дядю Колю. Мало того, что он был с Подола, он еще и пил, вливая целую бутылку «Шартреза» в прямое горло.

На их свадьбе был Каганович. Точнее – его брат, оказавшийся то ли родней, то ли соседом жениха. На праздник он пришел с телохранителем. Поэтому первый тост был за Сталина, второй – тоже. Когда кричали «горько», гости смотрели на Кагановича, который в ответ кивал и улыбался. Несмотря на мезальянс, брак удался. Сарра любила мужа и сошла с ума, когда он умер.

Но задолго до этого я жил у них в гостях. К тому времени Евбаз уже окончательно превратился в площадь Победы с одноименным кинотеатром. Цирк наконец достроили, а евреев расселили в новостройки. Дяде Коле и тете Сарре досталась отдельная квартира, состоящая из одной по-прежнему маленькой комнаты. С 6 утра до полуночи в ней пел и рассказывал репродуктор. Сперва мне это мешало, но вскоре я привык жить с черным громкоговорителем, никогда не оставлявшим нас наедине с лишними мыслями.

Попав в новую среду, старики забыли дорогу к Евбазу и никогда туда не возвращались. Оставшись без тех немногих дел, которые у них были, они сидели во дворе на скамейке, заговаривая с каждым, кто оказывался в пределах слуха. Хотя я не пропускал ни слова, мне не восстановить эту бесконечную, исчерпавшую их старость беседу. Они обсуждали услышанное из репродуктора, ловко выбирая лишь то, что касалось евреев: Хрушев, ООН, Насер, Израиль. Еврейская тема была настолько захватывающей, что сюжет становился лишним. Их речь, свободная и бессмысленная, текла, как река в равнинной местности. Но на воду, как известно, смотреть всегда интересно, и слушая взрослых, я постигал риторику от обратного.

## Луганск *или* Тени забытых предков

Задолго до того, как у меня появились деньги, я научился обходиться без них, путешествуя на попутных машинах по всей стране – от Белого моря до Черного, от Волги до Карпат, от весны до осени.

Уйдя в народ, я не нашел в нем ничего плохого. Все, кто сажал меня в кузов или кабину, были добры и приветливы. Другие, надо полагать, не останавливались, и их можно понять. В те годы я походил на химеру. Юная борода упиралась в небо, нос загибался клювом, ветер раздувал вороную гриву, копыта и хвост скрывала плащ-палатка. Завидев меня в сумерках, бабки крестились. Но и они угощали своим, а не купленным, хлебом и парным, отдающим домашним зверем, молоком, как это случилось в степи, где мы с братом заночевали в палатке, свернув с шоссе Харьков – Ростов.

Впервые попав в степь, знакомую исключительно по Гоголю и Чехову, я оробел от упраздняющего смысл простора и пронзительно горького запаха трав. Судя по карте, всего в 20 километрах стоял Луганск, но мы не решились в него заехать – он был городом ненашего детства. Привыкнув к нему, как к сказкам, мы боялись его не узнать, не понять и не принять.

Мама Луганск не выносила, но её мать, а моя бабушка Анна Григорьевна, не могла без него обойтись, и каждое лето отправлялась восвояси, чтобы пожить по-человечески, а не так, как в Риге. С трудом научившись писать, не взирая на грамматику, она каждую неделю отправляла по толстому письму родне, мучаясь, как вся страна, с адресом. Ее город дважды переименовали в Ворошиловоград, и дважды он вновь становился Луганском. Бабушке было все равно. Политику она до поры до времени не понимала, а понятие «национальность» исчерпывалось смутной категорией «наших», исключавшей, как это выяснилось в Риге, латышей и включавшей всех остальных, прежде всего – шахтеров, которых она знала по кино и луганским скульптурам.

В городе бабушка тосковала по земле, потому что родилась в деревне. Она называлась Алексеевка. Ее деда, а моего прапрадеда звали Иван, но вот фамилии я не знаю и уже не у кого спросить. Он родился при крепостном праве и не умел писать. Зато сохранилась карточка из твердого картона: групповой портрет на фоне плотного забора, заросшего ягодными кустами. Посредине, на лавке, сидят старик и старуха. Он в кацавейке, она в платке, оба в чоботах, руки сложили, смотрят прямо в камеру без мысли и выражения – как будды. За ними в два ряда – родичи: девять душ и ни одной улыбки. Век с лишним лет назад, да еще в деревне, фотография была не мимолетным развлечением, а фундаментальным событием. Она запечатлела итог трудов длиною в жизнь: семья, а главное – дом.

– Огромный, – вспоминала бабушка, – а сад еще больше. И кони, был собственный извоз. Но все равно дети хотели в Луганск, всего 20 верст.

Вырвалась только одна – Матрена Ивановна. Она пережила мужа на много десятилетий и умерла в глубокой старости – под сто лет. Я ее знал, немного боялся и стеснялся называть прабабушкой. Высокая, статная, она отличалась несгибаемым нравом, в юности – свирепой красотой, как и все женщины в этом роду. В деревне ей не могли подобрать достойную пару, пока не нашли рукастого шпендрика Гришу. На голову ниже ее, он страстно любил технику и увез молодую в город, на улицу Вокзальную, поближе к паровозам и прочему железу.

Мой прадед Григорий Гаврилович Толстенко боялся жену. Умея справляться только с неживым, он был прекрасным слесарем, токарем, фрезеровщиком. Более того, Гриня, как его

звала жена, владел мотоциклом и навещал Алексеевку в кожаных голенищах-крагах, начищенных гуталином до черного блеска. Прадед был щеголем, брил голову, носил острую бородку, нафабранные усы и круглые очки. У меня есть такие, но я в них похож на Троцкого. Он служил в железнодорожной мастерской и строил грузовой паровоз «Феликс Дзержинский». Судя по фото, он был передовиком: на лацкане – орден с серпом и молотом. Однажды его с женой отправили в Гагры на отдых: белая толстовка, пальмы, очумелый взгляд.

Главной удачей его жизни был нэп. Помимо службы, прадед завел процветающую мастерскую во флигеле с нужными станками и помощником – белокурым, как Лель, ангелом. Разворачиваясь, прадед богател и строился. Скоро в городе вырос большой, как в деревне, дом у реки. И сад. И огород. И цветник с мальвой. И погреб с бочками. И собачка Марсик.

А вот с другими животными не сложилось. Завели кур, уток и веселого поросенка. На беду они все полюбили суровую к людям Матрену Ивановну, а та – их. Днем, в жару, когда она дремала на веранде, весь скотный двор спал вместе с ней, поросенок – на коленях. Когда одна курица перестала нестись, позвали человека, чтобы ее зарезать. Есть ее никто не мог. Про свинью и говорить нечего. Осерчав, прадед убил всю живность и запретил заводить другую. Мясо все равно ели редко. Огород поставлял борщ, сад – все остальное. Бабушка меня учила есть арбуз с хлебом. Без фруктов она страдала и всегда возвращалась со скуповатого рижского базара с цветами и яблоками.

## 2

Между тем пришла пора выдавать мою бабушку замуж. Она считалась бестолковой. Учиться не могла и дальше третьего класса не продвинулась. Ей нравилось шить, еще больше вышивать, ну и петь в церковном хоре. Войдя в возраст невесты, бабушка оказалась девушкой нечеловеческой красоты. Как звезда немого кино, только без нарочитого. Волна медных волос, плечи укутаны газом, широко расставленные глаза глядят с затаенным, но бешеным упрямством. На такой жениться страшно. Вот тут-то и пригодился Лель. Бабушка в него влюбилась без памяти, так что у него не осталось выбора, и он стал мне дедом.

Всё, что с ним связано, окутано горем и тайной. Начать с того, что его звали Филиппом, по-домашнему – Филя. Мне видятся в его внешности центрально-европейские черты: треугольное, а не круглое как у нас, лицо, тонкие губы, запавшие глаза, волосы зачесаны назад с рано обнажившегося лба. Снимались тогда, как на свадьбе или похоронах, во всем лучшем. Вот и дед был одет по-городскому: в двубортный сюртук, с широким галстуком, в сорочке с пристегнутым воротничком. Юный и задумчивый, он походил не на ученика слесаря, а на незаслуженно забытого поэта из Австро-Венгрии. Но, может быть, мне так кажется, потому что Филипп пробрался в Луганск из Румынии.

– Чтобы делать революцию, – со вздохом объясняла мне бабушка.

Фамилия его была Бузинов, но возможно – Флоре. У него были родственники в румынском городе Браилов, откуда мы однажды, уже в Риге, получили непонятное письмо с синей, по-заграничному яркой маркой. Отклеив бумажку с обратной стороны выцветшей фотографии, я обнаружил, что дед умел писать латиницей, только не понятно – что. В любом случае, известно, что русский язык был ему родным, и по отчеству Филиппа звали Иванович.

Век спустя, когда умерли все, кто мог внести ясность, тайна деда начала проступать из прошлого. Началось с того, что в газеты попало румынское село Каркалиу. Здесь живет женщина, спалившая украденные ее сыном шедевры авангардной живописи.

Надо сказать, что я этому ничуть не удивился. Именно так поступила бабушка с вырезанной из журнала «Польша» картиной абстракциониста, которую отец повесил на стену. Бабушка сожгла ее в ведре, размешав пепел лопаткой для верности.

Идя по следу, мы выяснили, что в болотистом устье Дуная живут 10 тысяч староверов, сбежавших два века назад из поморских земель к румынам. Принадлежащие к лютой секте филипповцев (отсюда частое у них, но редкое на наш слух имя Филипп), они славились самосожжениями и не могли ужиться с православной Россией. У румынов, среди бесплодных тростников, переселенцы промышляли рыбой и укрепляли веру. Не смешиваясь с местными, староверы сохранили в неприкосновенной чистоте обряды, наряды, язык и страстную любовь ко всему русскому, кроме правительства и никонианской церкви. Сегодня тут все по-прежнему. Деревня называется Камень, по-румынски – Каркалиу. Все жители – русские, фамилии – тоже, только окончания исчезли: Прокопов – Прокоп, Антонов – Антон, Бузинов – Бузин, и их полдервни.

Похоже, что дедушка – из них. Это бы все объясняло: и происхождение, и русский без акцента, и поморские голубые глаза с белобрысыми кудрями, и братьев, с которыми он до поры до времени переписывался, и неприязнь к нищему прошлому, от которого он хотел избавиться с помощью революции. В Россию Филипп бежал как другие – в Америку: за широким горизонтом и светлым будущим.

Луганск оказался по дороге, бабушка – на полпути. Приданое за ней дали знатное: молодым построили новый дом в центре Луганска. С садом, огородом, погребом и щенком. Жизнь налаживалась, повторяясь уже в третьем поколении, и деда это не устраивало. Луганск оказался тесен не столько для мировой революции, сколько лично для дедушки. Ведь он бежал в Россию, чтобы стать выше, чем был. Я его понимаю. В Луганске деда ждал дом, двор, в лучшем случае – мотоцикл. А он хотел выучиться на интеллигента, стать инженером, читать книги, играть в преферанс, ходить в театр, жить в столице.

В погоне за мечтой Филипп вступил в партию и отдал ей подаренный тестем дом. Не продал, не обменял, а просто вручил ключи райкому и навсегда уехал в Киев, оставив бабушку выбирать между любимым мужем и взбешенными родителями. Даже не задумавшись, она бросилась в Киев, взяв с собой швейную машинку и картонку с лучшими выкройками.

### 3

Для матери Киев был тем, чем для бабушки Луганск – раем детства. Здесь она пошла в школу, и уже в первом классе нашла друзей, с которыми не расставалась до смерти. Среди них был чернявый мальчик с маслянистыми глазами – мой отец. Они жили на одной улице – все той же Чкалова – и поженились сразу после войны, в восемнадцать лет.

В Киеве было трудно прокормиться. За деньги бабушка работать не умела – она шила наряды маме и ее куклам. Филипп трудился на заводе токарем, вечером учился в институте, а ночью чертил курсовые проекты. Он никогда не жаловался. Каждый экзамен приближал его к светлому будущему. Оно ждало своего строителя – Инженера.

Эта профессия была любимой тремя советскими поколениями. Инженерами были мои родители, их друзья, враги, соперники и почти все мои одноклассники. Отец так и не смог понять, зачем я поступил на филологический факультет, когда книжки можно и нужно читать в свободное от работы инженера время. Но это была инерция предыдущей – революционной – эры, которая вырвала деда у русских староверов и бросила в советскую историю. Застав мир в разобранном состоянии, он хотел знать, как собрать его заново.

Этому учили в Киевском индустриальном институте инженеров, который дед закончил, живя впроголодь. В Киеве тогда есть было нечего. Бабушка отдала 400 граммов хлеба беспризорному мальчишке, стерегущему во дворе мусор. В другой раз она ездила в село за салом, привезла полпуда, но часть его украли в дороге. И все же каждое утро маме доставалось яйцо всмятку, потому что так кормили ухоженных детей соседки-еврейки. Яйца маме опротивели, и она тайком бросала их с балкона. Филипп уходил на завод без завтрака, а на обед брал с

собой из пайка скверный хлеб с «подушечками» (липкие конфеты с повидлом). Возвращался он поздно ночью, был худым и мрачным, но моя мама его любила больше всех в ее долгой жизни и до смерти помнила книги, которые он ей читал.

Филипп гордился семьей. Я знаю об этом потому, что, как уже было сказано, нашел снимок – групповой портрет. Отклеив коричневую бумагу с обратной стороны фотографии, я сумел разобрать дату и надпись латиницей. Фото осталось неотправленным в Румынию и уцелело только потому, что было очень дорого бабушке. На фотографии все улыбались, как будто было нечего бояться.

В 1936-м дед закончил институт. На групповом снимке он – самый осунувшийся. Денег по-прежнему не хватало. Теперь он днем работал инженером, а в ночную смену тем же токарем на том же заводе. И все же жизнь понемногу укладывалась в заготовленную ей колею. В доме появились друзья-инженеры, ужинали с вином, допоздна играли в карты, купались в Днепре, ели мороженое.

Моя мама чуралась своей, не прощая ей житейской беспомощности, но боготворила отца, который становился все мрачнее. В 1937 начались чистки по национальному признаку. Забирали всех чужих: немцев, норвежцев, персов, мингрелов, китайцев, пуштунов, карелов. Среди врагов были и румыны. Деда выгнали из партии, и бабушка, наивно замечая следы, сожгла всё написанное не по-русски.

– Самым счастливым днем, – рассказывала мама, – было воскресенье с отцом на Владимирской горке. Мы молча сидели на скамейке, пока я не уснула на папином плече.

Той же ночью за Филиппом пришли люди в кожанках с понятым от соседей.

– Вели себя вежливо, – вспоминала мама, – никто не кричал, комнату обыскали небрежно и ничего не забрали, кроме отца.

С утра начались походы в тюрьму. Бабушка носила передачи с теми же подушечками, но ничего не брали. А вскоре пришла бумага из суда. Потомку длинной череды русских стариков Филиппу Ивановичу Бузинову как румынскому шпиону дали 10 лет без права переписки. Никто тогда еще не знал, что через неделю после приговора его расстреляли в Быковне, пригородном лесу, где теперь киевляне ставят на пнях свечи. Мама не дожидая выхода книги с перечнем всех там казненных, но я нашел в ней несколько украинских строк, которые стали деду могилой.

Бузинов Пилип Іванович, 1900, с. Кам'янка (Каракалир), Румунія.  
Нарком внутрішніх справ СРСР і прокурор СРСР (Двійка), протокол № 120  
от 25.01.1938 ВМП (розстріл). Розстрілян у м. Києві 04.02.1938 р.

Бабушка не знала о расстреле и, вздрагивая от звонка в двери, ждала мужа до 1956-го, когда пришла справка о посмертной реабилитации «за отсутствием состава преступления». Государство простило деда и назначило бабушке 31 рубль пенсии.

Но до этого надо было еще дожить. После ареста ополоумевшая от случившегося бабушка враз лишилась всех друзей-инженеров. В беде верным товарищем оказался только сосед, тот самый, которого чекисты взяли понятым. Он объяснил бабушке, что ее посадят как члена семьи врага народа, а дочку отвезут в детский дом, где она скорее всего умрет от тифа, а если и выживет, то забудет мать навсегда.

– Единственный выход, – повторял он, ломая руки, – бежать, взять девичью фамилию и немедленно бежать куда глаза глядят, но лучше обратно – в Луганск.

Сосед был добр. Он обещал прислать бабушке в Луганск ее швейную машинку и даже пожить в освободившейся комнате, пока власти не восстановят справедливость.

Бабушка сделала то, что ей сказали. Она отправилась обратно, взяв дочку, выкройку и те несколько фотографий деда, которые я сейчас рассматриваю в лупу.

В Луганске им никто не обрадовался.

– Ну шо? – встретила дочь Матрена Ивановна, – Усэ просрали и вэрнулись?  
Отвечать было нечего. Луганск был судьёй и судьбой.

## Луганск или Оккупация

Мама ненавидела Луганск, и было за что. НЭП кончился. Дом на Вокзальной улице, большой, самоуверенный, с садом в триста соток и мастерской, оснащенной нужными мастеру станками, отобрали власти. Без хозяев все пришло в негодность. Ночью разнесли забор и украли, аккуратно выкопав с корнями, плодовые деревья – в Луганске знали толк во фруктах.

Прадед и прабабка (близкие звали их Гриня и Мотя) отнеслись к несчастью стоически. Решая квартирный вопрос без помощи властей, они построили другой дом. Уже на окраине, намного меньше, но с летней терраской, надежным подполом, ухоженным садиком и спрятанным в углу двора чистым сортиром. Вскоре в саду появились груши для густого компота-узвара, вишни для вареников, кислый терн на повидло, абрикосы – на варенье. Под кроватью зимовали соленые арбузы. У забора рос виноград, который требовал много трудов и окупался домашним вином.

Вернувшись в Луганск из Киева, бабушка с дочкой окунулись в крестьянскую жизнь. Первая – с наслаждением, вторая – с ужасом. Я понимаю обеих. Бабушкин Луганск был одной семьей, как в «Амаркорде». Улица играла роль села, и всех, кто на ней жил, звали на свадьбу. Вдоль домов на козлы ставились доски. Накрывали – миски, ложки, стаканы – человек на сто. Скамейки приносили свои. Пир состоял из сваренного в жестяном чану-выварке борща и нескольких ведер котлет, заказанных ради праздника в столовой. Мужчины пили фруктовый самогон, женщины – тоже, и даже детям доставалась вишневая наливка. По угощению были уважение и подарок: жениху – мопед в складчину, невесте – постель с вышивкой.

В этом теплом мире бабушка была своей, в нашем – рижском – чужой, и как бы она меня ни любила, зятя всегда звала на вы, а когда обижалась – «человеком этой национальности». Бабушке Луганск казался понятным и безопасным, как родное село, в отличие от Киева, отнявшего у нее мужа. Но мама-то попала в Луганск уже отравленная украинской столицей – с бульварами, с каштанами, с крутыми холмами, как в Риме, где она все-таки побывала – в другой главе.

Мама, понятно, мечтала вернуться в Киев, но от арестованного отца не было известий. Государство, вопреки тому что обещал добрый сосед, согласившийся присмотреть за киевской комнатой, не торопилось восстановить справедливость. В Луганске с мамой обращались как с Золушкой. Ей полагалось выносить ночные горшки, полоть огород, поливать грядки и обедать в саду, заедая фрукты хлебом. В доме, конечно, не держали книг, из грамотных был только запуганный женой прадед, и никого не интересовали мамины оценки. Это не мешало ей учиться по всем предметам на пятерки. На переменах мальчишки совали в карман фартука записки, но она их не читала – ее поглощала другая страсть.

В луганской школе маме впервые после ареста отца повезло. Ее посадили за одну парту с Женей, невзрачной девочкой в очках из зажиточной, почти интеллигентной семьи. Женин отец был фельдшером. В доме висел абажур, на столе – скатерть с кистями, приходила домработница, а главное – шкаф книг. Из-за Мопассана его держали запертым от дочки, но девочки открутили заднюю стенку и читали запоем все, что пролезало в щель.

Книги стали маме Парижем. Луганск оказался неважным и ненастоящим. Так открывают веру, находят любовь, теряют голову и тратят жизнь. Других людей я, в сущности, не встречал, и всегда полагал, что это нормально, ибо у нас дома не читать книги считалось грехом, болезнью, уродством. Брата наказали за то, что он не дочитал «Овода», меня – за то, что я не отпускал книгу до утра. Но мы оба любили слушать, как мама пересказывала нам то, что

читала сама, следуя капризам интеллектуальной моды первой оттепели: Апдайк, Белль, Фолкнер, Кобо Абэ.

Как мы все, мама читала за едой, в кровати, отпуске, по дороге на работу, на работе и на пенсии. Читала одним глазом, потеряв второй. Когда совсем ослабла память, мама читала одну книгу – «Мастера и Маргариту». Дойдя до последней страницы, возвращалась к первой. Когда буквы перестали у нее складываться в слова, я приносил ей глянцевого журналы, чтобы было что листать. Без этого она не могла ни поесть, ни заснуть, ни умереть.

Разбирая оставшиеся от нее бумаги, я нашел тоненькую, аккуратно обернутую матовой бумагой брошюрку: «Пан» Кнута Гамсуна. На обратной стороне обложки выведенная пером-уточкой надпись хозяйки: Алла Бузинова (имя Ангелина она не любила и вернулась к нему только в Америке). Наверное, эта книжка составляла ее приданое. Теперь она досталось мне, и я дорожу ею больше, чем остальным наследством – многотомниками французских классиков, включая того же Мопассана, за которыми родители стояли ночами в веселых книжных очередях.

Я думаю, что без книг мама не пережила бы Луганска, тем более когда началась война.

## 2

Мама часто вспоминала войну. Ведь она провела ее как бы за границей – в оккупации. Это был уникальный для нас опыт несоветской жизни, и я жадно слушал ее рассказы. Они разительно отличались от того, что я знал об этом сюжете, в основном – из «Молодой гвардии». Это еще не значило, что мамина история перечила школьной. Мама вообще не любила спорить. Она просто вспоминала без выводов и сравнений о семи месяцах, проведенных в оккупированном Луганске.

– Когда пришли немцы, – рассказывала она, – сразу исчезли евреи. В нашем классе их было две девочки. Они сразу пропали, и никто не спрашивал – куда. Потом кончилась водка. Каждый вечер дедушка, приходя с работы, выпивал под борщ маленькую, густо накрошив в стакан красного перца. Когда бабушка сказала, что водки больше не будет, он впервые заплакал. Так мы поняли, что война пришла к нам домой.

Война привела с собой офицера – на постой. Мать мало что могла о нем вспомнить. В школе она, как все тогда, учила немецкий, но вряд ли продвинулась дальше «битте зер». Оккупация началась в июле, и с немцем обедали – вечным борщом – на увитой виноградом террасе. Больше всего маму потрясло, что после еды немец кланялся и целовал руку хозяйке, называя ее «муттер».

– Наверное, – рассуждала она намного позже, – у немцев было так принято, как у японцев снимать на пороге туфли. И вежливость не мешала им красть. Когда спели фрукты, солдаты собрали наш урожай. Двое трясли лучшую грушу, пока третий набивал мешок. Бабка, не разжимая губ, смотрела на них до тех пор, пока мародерам не стало стыдно. Только тогда она ушла в дом, чтобы не мешать грабежу, пресечь который была не в силах.

Лето кончилось, и жизнь невольно вошла в колею. Привыкшие от любой власти ждать только плохого, родичи сносили войну молча. Мама ходила в школу, Григорий Гаврилович – в железнодорожную мастерскую, где чинили все тот же грузовой паровоз, переименованный из «Феликса Дзержинского» в «Адольфа Гитлера». Матрена Ивановна вела хозяйство и кормила немца. Бабушка шила на продажу ватники. Лучше всех устроилась ее сестра, которую я звал тетя Лида. Толковая и хорошенькая, она закончила девять классов, научилась печатать на машинке и работала секретаршей в какой-то советской конторе, которая теперь стала комендатурой. При новом режиме Лиду не прогнали со службы. Более того, у нее завязался горячий роман с молодым и красивым немцем.

– Во время войны, – объясняла мне бабушка, когда я еще был совсем маленьким, – сестра была немецкой подстилкой.

В ее устах это звучало как должность или социальное положение, вроде «служащей» или «иждивенки». В семье Лиду никто не осуждал, и после войны она без помех вышла замуж за офицера, но уже русского – дядю Паву, с которым я собирал грибы в Подмосковье.

Зарывшись в книги, мама, когда ее не заставляли полоть грядки, не обращала внимания на немцев, пока один из них не обратил внимания на нее. Пожилой мужчина в форме подозвал симпатичную белобрысую девочку и велел улыбнуться. Мама, ей было шестнадцать, открыла рот. Офицер внимательно осмотрел верхнюю челюсть и сказал прийти в казарму. На следующий день напуганная мама пришла куда велено и увидела вчерашнего незнакомца в белом халате. Он оказался военным врачом. Заметив на улице красивую девочку с уродливым ртом, дантист вырвал криво выросший зуб и отпустил с миром.

– Но евреев они все равно убили, – добавляла мама, боясь, что я неправильно пойму или расскажу лишнего в школе.

Между тем немцы ушли на Восток, а их место заняли итальянцы. С этими оказалось сложнее – они хорошо пели и быстро выучили украинские песни. Особенно тот мальчишка, который заменил на постое строгого немецкого офицера. Выходец из сицилийской деревни, он привязался к Матрене Ивановне и помогал ей с виноградом. С началом зимы он часто с ней плакал. В 42-м всех отправляли в Сталинград, и с этого фронта никто не надеялся вернуться.

Красная армия освободила Луганск 14 февраля. Бежав налегке, немцы оставили продовольственные склады открытыми, и местные бросились за самым ценным – сахаром. Тут их и накрыла своя артиллерия.

– Половина соседей полегла, – вспоминала мама, – но наши уцелели, поскольку не брали чужого.

К концу войны мама вырвалась из Луганска в Киев, по примеру расстрелянного там отца. Считалось, чтобы учиться, на самом деле – жить.

### 3.

Когда началась война, отец прыгал от счастья. Развитый мальчик, он читал газеты, отмечал флажками победы на карте республиканской Испании и написал слезное письмо Сталину, призывая раздавить гитлеровские полчища. Война обещала с ними покончить разом, но пока его отца забрали на фронт, а сам он с мамой и ее сестрами отправился в эвакуацию.

Дорога заняла целый год, потому что немцы шли по пятам, и нигде не удавалось осесть надолго. Жили, как всегда, торговлей. Однажды удачно обменяли лисий воротник с пальто тети Сарры на мешок сухарей. В пути к ним прибился цыганский табор. Чернявого отца принимали за своего, ценили как образованного и доверяли безмен. В Тихорецке отцу исполнилось 15, и он вступил в комсомол.

– Есть, – рассказывал отец, – хотелось все время, и однажды я смущенно попросил у двух посторонних женщин кусок хлеба, не дать, а продать, хотя мне нечего им было предложить взамен. Они заплакали и поделились.

Покинув город, наши застряли на полустанке. К вечеру цыгане исчезли. Командир защищающей станцию роты отозвал отца как самого смышленного во всем кагале и спросил:

– Bis tu a Yid?

– Yo, avade! – ответил удивленно отец, – конечно еврей.

– Тогда бегите, только сразу, к утру здесь будут немцы.

Это спасло тех, кто поверил. Остальных бросили в пустой колодец. Я не умею говорить на идиш, но кодовую, как в «Маугли», фразу (мы с тобой одной крови) запомнил, хотя пока она мне и не пригодилась.

Странствия закончились в Туркмении. Город в пустыне назывался Чарджоу, и отцу он скорее понравился. В основном – из-за дынь, лучших, как считается, в мире. Ароматом они заполняли весь двор, их ели вместо хлеба.

Пропустив год, отец пошел в восьмой класс школы для эвакуированных. Учителя оказались замечательными, в основном – из сосланных еще до войны. Лучше других была преподавательница литературы, любовница (на что она часто намекала) Маяковского. На уроках читали Минаева («даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром»), Сашу Черного и Кузьму Пруткова. Отец привил мне вкус к смешным стихам, и я до сих знаю наизусть пародии Архангельского и всю поэму Пушкина «Царь Никита и сорок дочерей». Кроме этого, отец на спор с одноклассником Ниссоном выучил всего «Онегина». Почти семьдесят лет спустя, встретившись в доме моих родителей на Лонг-Айленде, они читали друг другу по главе, не пропуская строчек.

Войне не было конца, и отец опять написал письмо в правительство, на этот раз председателю Калинину, с просьбой взять его в школу разведчиков. Считалось, что это – идеальная военная карьера для евреев: они наверняка не перебегут к противнику. Ответ пришел из секретариата. Отца поблагодарили и посоветовали обратиться в военкомат. Ему, однако, еще не было шестнадцать, и он остался жить в Туркмении до освобождения Киева. Как только это случилось, 7 ноября 1943-го, отец рванул обратно, один, без денег, через всю страну со смутной надеждой выучиться, конечно, на инженера.

До Киева было пять тысяч километров. В Аральске отец разбогател, купив за бесценок мешок соли. В Саратове продал его за шесть тысяч и приобрел простреленную солдатскую шинель, а на сдачу – первое за всю войну пирожное: эклер с заварным кремом. Он вспоминал о нем до смерти. Последнюю ночь пути отец провел на подножке поезда, привязавшись ремнем к поручням. Паровоз топили плохим углем, и в Киев отец въехал черным от копоти.

На Евбазе он встретил дядю Колю, отходившего от тяжелой раны. Они зажили вдвоем, кормясь исключительно семечками. Пол был по колено засыпан шелухой. На ней и спали, подложив все ту же шинель.

Вскоре, однако, отец открыл успешный бизнес – торговлю кремневыми камешками для зажигалок. Большие спекулянты продавали их оптом маленьким. Камешки были двух сортов. Отечественные быстро стирались, канадских хватало надолго. Чтобы убедить покупателей, отец, демонстрируя твердость камня, сжимал кремень зубами. Иногда изо рта сыпались искры. Дело шло, и вскоре отец приоделся по военной моде – в галифе и папаху.

Школьный товарищ отца, тоже перебравшийся в Америку, вспоминал на его поминках, как в послевоенном Киеве они отправились в баню. Обогнув толпу, отец спросил у кассира, нужно ли героям Советского Союза стоять в очереди? Следует заметить, что он не причислял себя к героям, а лавируя между правдой и ложью, всего лишь интересовался правилами. Не удивительно, что Остап Бендер был его любимым героем.

Сдав экзамены, включая к собственному удивлению французский, который он учил два часа, отец поступил в тот же институт, который закончил мой дедушка. Самым престижным считался радиотехнический факультет. Отец изучил странные на мой слух предметы вроде «Усилителей низких частот». Дома всегда валялись электронные лампы, но главным его открытием в радио были западные станции. Наслушавшись их, он больше не писал Сталину и сжег выпускавшийся союзниками журнал «Англия», не дожидаясь, пока за ним придут.

Став, как и дедушка, инженером, отец всегда гордился профессией и выпивал 7 мая, в день, когда изобрели радио. В Америке, начав сотрудничать с Радио Свобода, я присоединился к отцу, хотя для Запада радио придумал не Попов, а Маркони. Я специально ездил на тот пляж Кейп-Кода, откуда он посылал сигнал в Европу и, заодно, марсианам, которые пока не ответили.

Став студентом, отец себе чрезвычайно понравился – он походил на еврейского Маяковского. Добравшийся до высшего образования – первый в семье, где и читали с трудом – отец завел шляпу. Еще не зная толком, что с ней делать, он, изображая интеллигента, ловил отражение в немногих уцелевших на улице Чкалова витринах.

Тут-то он и встретил худую блондинку с зелеными глазами и двумя косичками. Сперва отец даже не узнал в ней Бузинову, в которую влюбился еще в первом классе. Возобновив знакомство, они перебрались в Ботанический сад – через забор, конечно. (Съездив уже на пенсии из Америки в Киев, отец нашел и сфотографировал поляну их свиданий). Добром это кончиться не могло, и, едва дождавшись восемнадцати, родители поженились к великому ужасу моих обеих бабушек.

Отец умер за неделю до шестидесятой годовщины этой свадьбы. Я уже и цветы купил, но букет пошел на похороны.

## Рязань или Соблазн провинции

Больше еды и женщин отец любил политику, и она ему отвечала взаимностью. События в большом мире часто аукались в его биографии, способствовали карьере и разрушали ее. Череда побед началась с войны, причем – Корейской.

Отец закончил институт дипломной работой «Радиоприемники второго класса». Я не знаю, почему второго, сам он все предпочитал первого, но особенно – приемники. Дождавшись появления транзисторов, отец никогда, даже на ночь, не расставался с чуткой «Спидолой». Она обходила глушилки и ловила западные станции. Отец распознавал заграничную интонацию с первого звука даже тогда, когда вещала Албания. С треском пересекая границы, чужие волны открывали глаза на правду и отравляли – именно этим – жизнь. Без радио отец не умел существовать, как, впрочем, и я, что выяснилось уже в Америке.

Но сперва молодого специалиста направили по распределению разрабатывать уникальный прибор: универсальный измеритель шкур всех животных – от коровы до бобра. Уникальность его состояла в том, что такого никогда не было и быть не могло. Сражаясь с безумием начальства, отец отчаянно скучал на работе. Его спасла атомная бомба и вооруженные ею самолеты. Они нуждались в радиолокации, и отца отправили создавать ее на оборонный завод с неброским названием «п/я № 1».

На дворе, однако, стоял 1949 год, и страна готовилась к 70-летию Сталина. Отложив оборону, завод отлаживал подарок вождю: магнитофон «Днепр» в единственном экземпляре. Готовый продукт вместе с кандалами итальянских антифашистов и рисовым зерном, на котором китайцы выцарапали четвертую главу «Истории ВКП(б)», предназначался для музея подарков Сталину. Отец говорил, что в то время он размещался в бывшем Английском клубе на улице Горького. Но когда я приехал в Москву после путча 1991-го, роскошный особняк стал Музеем революции на Тверской. Экспозицию открывал Ленин, Сталин не упоминался вовсе, апофеозом освободительного движения оказались Перестройка и поражение ГКЧП. В память о победе над путчем кураторы поставили у входа сожженный в дни беспорядков троллейбус. Он исчез, когда я вновь навестил музей 20 лет спустя. В ответ на расспросы администрация объяснила, что призвание всякого музея не цепляться за прошлое, а шагать в ногу со временем.

Так или иначе, магнитофон из «Днепра» получился паршивым и вряд ли добрался до Сталина. Зато он привил отцу любовь к магнетиздату. Я вырос с литовской «Aidas», научился клеить пленку уксусной эссенцией и выучил наизусть все песни Окуджавы. Отец предпочитал Высоцкого – за антисоветскую сатиру – и сестер Берри – за интимную близость с Евбазом.

Когда разразилась Корейская война, отец наконец занялся важным делом – «оснащением реактивной авиации локаторами для бомбометания». В месяц выпускали по 21 самолету, и о каждом докладывали лично Сталину, которого отец теперь ненавидел, наслушавшись западного радио. Это не мешало ему быть патриотом и охранять отечество от американцев, которые пока на него не нападали, но могли.

– Что ж ты защищал, – спрашивал я его уже в эмиграции, – строй или родину?

Отмахиваясь от вопроса, отец хвастался ударным трудом на благо ненавистного режима. Он летал с испытателями, сидел в самолете на приставном сидении без катапульты, мерз в меховом тулупе и работал в две смены. Отец знал Илюшина и поспорил с Туполевым, обещавшим сослать его в Сибирь. Но лучше всего запомнил столовую авиационной элиты, где блюда готовились с учетом диетических требований генеральских организмов. Не удержавшись, отец

заказал нуазет из барашка, о котором прочел в романе Эренбурга «Падение Парижа», самой западной из доступных ему тогда книг.

Отцу платили (хоть и недолго) бешеные деньги: десять тысяч рублей, что составляло десять получек инженера или две – директора завода. С тех пор он полюбил деньги. Его скупость была ограниченной. Отец азартно экономил на буднях, но спускал все в праздники. В нашем доме всегда гуляли друзья, знакомые и знакомые друзей. Угощая полгорода в воскресенье, отец мучился в понедельник, разменивая десятку, не говоря уже о 25-рублевой купюре. Я думаю, что деньги ему нравились не только с практической, но и с эстетической стороны. Получив премию, отец выложил банкнотами весь пол в квартире. Тратил он с максимальным эффектом. Однажды они с мамой сидели в ресторане за полтавским борщом. Дождаясь второго, отец вышел из-за стола, но не в уборную, а в ювелирный через дорогу. За киевской котлетой мать открыла коробочку и нашла в ней модные золотые часы «ЗИФ».

Между тем над родителями навис квартирный вопрос, который государство никак не могло разрешить, хотя оно и отобрало два из трех домов, построенных моим прадедом. Мой брат рос, ему понадобилась кровать, а она никак не вмещалась в комнатку на Чкалова. Единственным выходом представлялся переезд на открывшуюся вакансию в Рязани. Но это означало отказ от самого дорогого – киевской прописки. Решиться на этот шаг родителям было тогда труднее, чем потом на эмиграцию. Киев был теплой столицей их души, Рязань – чужой и незнакомой провинцией. Но там отцу дали трехкомнатную квартиру. Увлеченный немислимой роскошью, отец по-рыцарски уступил одну комнату милиционеру, который начал свои дни в деревне, а кончил в окрестностях политбюро.

– Видимо, идиотизм, – на старости лет предупреждал меня отец, – у нас в роду.

## 2.

Я гордился тем, что родился в сермяжной Рязани. Компенсируя космополитические убеждения, она служила якорем, соединяющим меня с землей, которую я, основательно запутавшись с отечеством, осторожно считаю родиной моего языка. Хуже, что я ничего не помню. Смутно, как в забытом сне, маячит красный ковер, самодельный торшер с лимонным абажуром, мама, читавшая нам с братом книжку, вероятно, Жюль-Верна. Но может быть, как в том же сне, воспоминание смешалось с придуманным, рассказанным или вычитанным. Ковер, уже совсем протертый, переехал в Ригу вместе с братом, мамой, Жюль-Верном и, конечно, торшером, который сопровождал наш быт, словно пленный иностранец.

Второй раз я попал в Рязань на обратном пути с Красной площади, где отмечалось 50-летие Октябрьской революции.

– Такого торжества еще не видело человечество, – провозгласил мексиканский гений и коммунист Давид Сикейрос.

В чем-то он был прав. После салюта в ночном небе появился дирижабль, тащивший кумачовое полотно с громадным портретом Ленина. Вечерний бриз играл тканью, заставляя Ильича корчиться. Мощные прожекторы освещали гримасы, делая их еще более зловещими. Голова вождя парила над умолкнувшей от ужаса Красной площадью. А Ленин, принявший на себя, как портрет Дориана Грея, все пороки оригинала, хмурился под порывами ветра, будто знал, что его не ждет ничего хорошего.

После Москвы в Рязани было тихо. На главной улице стоял сруб, я думал – этнографический музей, оказалось – просто дом. Кремль с синими куполами будил патриотические чувства. Незадолго до этого в школе проходили монгольское иго, и я с чувством и выражением рассказывал классу, как мой родной город сражался с Батыем до последнего человека.

Живые рязанцы мне тоже понравились. В каждой квартире книг стояло еще больше, чем у нас. Взрослые обсуждали московские премьеры и выставки. Лишенные богатой столичной

среды, рязанцы создавали ее сами и из себя. Провинциалов часто отличает та отчаянная жадность к культуре, которой, не зная ее причины, я и сам болел, и в других встречал. Однажды мне в Нью-Йорк пришло письмо из приамурского поселка, который я не сумел найти в атласе. Начиналось оно так:

– Вы, конечно, не поверите, – писал автор, – но у нас еще не все прочли Борхеса.

Культура была неконвертируемой валютой провинции, и мои родители верили в нее, не задавая вопросов. Они стояли ночами за подписными собраниями сочинений, ходили на концерты длинных симфоний, искренне считали театр храмом даже тогда, когда ставили пьесы Корнейчука «В степях Украины» и «Партизаны в степях Украины», оперу Хренникова «В бурю», где Ленин поет ходокам, и оперетту «11 неизвестных» про советских футболистов, попавших в Англию.

О последней отец и не мечтал, но язык все равно учил, подписавшись на газету британских коммунистов «Ежедневный рабочий». Кроме нее он читал «Триумфальную арку» в переводе с немецкого на английский и тогда еще запрещенный роман «По ком звонит колокол», выискивая у Хемингуэя крамольные места про советских военных в Испании. В сущности, всю литературу отец делил на разрешенную и запретную. Предпочитая, естественно, последнюю, он избегал лауреатов любых, кроме Нобелевской, премий. Учась и подражая, я освоил Достоевского вместо, а не вместе с Толстым, еще пионером прочел Кафку и слепо любил всех писателей неблизкого зарубежья, исключая Джеймса Олдриджа, который хоть и писал на английском, но жил в Москве.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.